

ТЕОРИЯ
И ИСТОРИЯ
ИСТОРИОГРАФИИ

Научный журнал
выпускается с 1991 года



Бенедетто Кроче

ТЕОРИЯ
И ИСТОРИЯ
ИСТОРИОГРАФИИ

Послесловие *Т. В. Павловой*
Перевод с итальянского *И. М. Заславской*



Школа
«ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»
Москва 1998

ББК 83.3(4)4
К 83

ИНСТИТУТ



ОТКРЫТОЕ
ОБЩЕСТВО

Учебная литература по гуманитарным и социальным дисциплинам для высшей школы и средних специальных учебных заведений готовится и издается при содействии Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) в рамках программы «Высшее образование».

Редакционный совет: *В. И. Бахмин, Я. М. Бергер, Е. Ю. Гениева, Г. Г. Дилигенский, В. Д. Шадриков.*

Рецензент:

Г. Д. Муравьева — к. филол. н., доцент РГГУ

Бенедетто Кроче

К 83 Теория и история историографии / Пер. с ит. И. М. Заславской. Послесл. Т. В. Павловой. Науч. редактирование М. Л. Андреева. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. — 192 с.

ISBN 5-7859-0066-1

Книга «Теория и история историографии» (1917) является завершающей частью «Философии духа» — самого крупного труда выдающегося итальянского мыслителя нашего века Бенедетто Кроче (1866–1952). В то же время книга представляет собой самостоятельное исследование органической связи истории и философии применительно к различным историческим эпохам развития мышления, начиная с античности.

ББК 83.3(4)4

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ISBN 5-7859-0066-1



9 785785 900660 >

© И. М. Заславская. Перевод с ит., 1998
© Т. В. Павлова. Послесловие, 1998

ОГЛАВЛЕНИЕ

Теория историографии

I. История и хроника	9
II. Псевдоистории	18
III. История как история всеобщего. Критика «всеобщей истории»	32
IV. Генезис и идеальный распад «философии истории»	40
V. Позитивный характер истории	52
VI. Гуманизм истории	58
VII. Отбор и периодизация	66
VIII. Различие (специальные истории) и разделение	71
IX. «История природы» и собственно история	77

Приложения

<i>I. Достоверные сведения</i>	<i>82</i>
<i>II. Аналогия и аномалия специальных историй</i>	<i>84</i>
<i>III. Философия и методология</i>	<i>91</i>

Вокруг истории историографии

I. Предварительные вопросы	101
II. Греко-римская историография	110
III. Средневековая историография	121
IV. Историография Возрождения	135
V. Историография Просвещения	147
VI. Историография романтизма	160
VII. Историография позитивизма	173
VIII. Новая историография. Заключение	184
<i>Послесловие (Т. В. Павлова)</i>	<i>188</i>

ТЕОРИЯ ИСТОРИОГРАФИИ

I. ИСТОРИЯ И ХРОНИКА

I

«Современной» принято называть историю недавнего прошлого — последние пятьдесят, десять лет, год, месяц, минувший день, даже час или миг. Правда, в строгом смысле «современной» должна именоваться только та история, которая вершится прямо на наших глазах и в нашем сознании: к примеру, моя личная история, которую я создаю, когда пишу эти страницы, — это история рождения мысли и ее воплощения в письмо. Она современна именно потому, что, как всякий духовный акт, лежит вне времени (вне прошлого и будущего), возникает «в одно время» с самим этим актом и может быть отделена от него не хронологически, а только умозрительно. История же «несовременная», история «прошлого» имеет дело с уже свершившимся и предполагает критическое его осмысление независимо от того, сколько прошло с тех пор — тысячелетие или всего лишь час.

Однако, по здравом размышлении, свершившуюся историю, что именуется (либо должна именоваться) «несовременной», историей «прошлого», если, конечно, это в подлинном смысле история, а не переливание из пустого в порожнее, тоже можно без оговорок назвать **современной**. Для этого необходимо одно условие: факт, из которого творится история, должен жить в душе историка или же (пользуясь историческим лексиконом) историк должен иметь в своем распоряжении удобопонятные документы. А если этот факт сопровождается толкованием или пересказом, это лишь обогащает его, но сам факт ни в коем случае не утрачивает своей значимости, эффекта своего присутствия. То, что прежде было толкованием, оценкой, теперь стало фактом, «документом» и в свою очередь подлежит истолкованию и оценке. Историю нельзя построить на пересказах — только на документах, либо на пересказах, ставших документами. Современная история возникает непосредственно из жизни, оттуда же происходит и несовременная история, ибо очевидно, что лишь интерес к настоящему способен подвигнуть нас на исследование фактов минувшего: они входят в нынешнюю жизнь и откликаются на нынешние, а не былые интересы. Об этом на разные лады твердят историки, в этом и состоит если не глубинная суть, то хотя бы причина живучести довольно избитой формулы: «история — *magistra vitae*» (история — наставница жизни).

Я вспомнил об этих формулах исторической науки, дабы постулат «всякая подлинная история есть история современная» не звучал слишком уж парадоксально. В историографии ему легко найти великое множество очевидных примеров, если не впадать в одну ошибку, а именно,

не рассматривать труды всех историков в целом или не брать наугад отдельные их группы и не вопрошать, обращаясь к абстрактному человеку, либо воспринимая абстрактно самих себя, какой нынешний интерес побуждает нас читать или писать историю прошлого, какой нынешний интерес можно усмотреть в истории Пелопоннесской войны или войны с Митридатом, в мексиканском искусстве или арабской философии? По мне, в данный момент — никакого, значит, для меня в данный момент это вовсе не история, в лучшем случае названия исторических книг, а историей они станут для тех, кто соизволит их осмыслить или готов осмыслить, скажем, для меня, когда я осмыслю и переосмыслю их согласно своим духовным потребностям. Если же придерживаться подлинного духа истории, истории в процессе ее осмысления, нетрудно заметить, что она и есть самая личная и современная из всех существующих историй. Когда потребности моего культурного развития в тот или иной момент истории (излишне, а быть может, и неточно добавлять: «моей личной истории») ставят передо мной проблему древнегреческой цивилизации, философии Платона или своеобразия аттических обычаев, эта проблема точно так же связана с моим существом, как история дела, которым я занимаюсь, любви, которую вынашиваю в душе, или опасности, которая мне угрожает, и я с той же страстью, с тем же страданием погружаюсь в эту проблему, пока мне не удастся ее разрешить. Судьба древних греков присутствует во мне, волнует, влечет, мучает подобно образу моего противника, возлюбленной, любимого ребенка, за которого я переживаю. То же самое происходит, происходило или произойдет с войной против Митридата, мексиканским искусством и всем прочим, о чем я упомянул выше в качестве примера.

Допустив, что **современность** — не характеристика того или иного класса истории (как с полным основанием заявляет эмпирическая классификация), но внутреннее свойство всякой истории, необходимо постичь **единство** истории и жизни — не в смысле абстрактного тождества, но как единство синтетическое, предполагающее наряду с единством и различие. Говорить об истории, не имея документов, столь же нелепо, как рассуждать о существовании чего-либо при отсутствии одного из необходимых условий этого существования. История, не опирающаяся на документ, не достоверна, а смысл истории состоит именно в ее достоверности, и всякая ее повествовательная конкретизация лишь тогда является исторической, когда представляет собой **критическое осмысление** документа, основанное на интуиции, размышлении, сознании, самосознании и т. п.; в противном случае история как наука не обладает упомянутой достоверностью и не имеет права на существование. Можно ли писать историю живописи, если не имеешь возможности видеть картины, о происхождении которых ты намерен рассказать? Ичто сможет понять в такой истории читатель, если у него нет той художественной подготовки, на которую рассчитывал автор? Много ли стоит

история философии вне философских трудов или хотя бы их фрагментов? Какой смысл излагать историю обычая или традиции, скажем, христианского смирения или рыцарской чести, коль скоро не имеешь возможности пережить, вернее, должным образом прочувствовать эти особые состояния души?

С другой стороны, если утверждается нерасторжимая связь жизни и мысли в истории, то сразу бесследно и невозвратно исчезают сомнения относительно **правдоподобия** и **пользы** истории. Может ли быть **неправдоподобным** то, что **сейчас** рождено нашим духом? Может ли быть **бесполезным** знание, разрешающее проблемы самой жизни?

II

Возможно ли вообще разорвать связь документа с его толкованием, истории с жизнью? Почему бы и нет? Ведь случается, что документы, соответствующие тому или иному историческому периоду, навсегда утеряны или же (случай более общий и типичный) эти документы не живут в нашей душе. Необходимо признать, что в таком положении касательно того или иного отдела истории рано или поздно оказывается каждый из нас. К примеру, для нас история древнегреческой живописи по большей части не имеет документов. Историей без документов является и жизнь народа, когда мы точно не знаем, где этот народ жил, какие мысли и чувства его волновали, когда мы не можем воочию увидеть созданные им творения; или, допустим, до нас не дошли ни литературные, ни философские тексты, а будь они даже у нас перед глазами, мы не можем понять пронизывающий их дух — то ли от недостатка знаний, то ли в силу непонятого внутреннего сопротивления, то ли просто из неспособности сосредоточиться.

И коль скоро упомянутая связь нарушена, история уже не является историей (ведь она не что иное, как эта самая связь). А то, что от нее осталось, историей можно именовать с тем же успехом, с каким именуется «человеком» труп, — и не потому, что от него ничего не осталось (в строгом смысле труп тоже кое-что), будь это «ничем», связь бы и не нарушилась, ибо «ничто» не способно на действие. Если же все-таки осталось кое-что, иначе говоря, толкование, то какой в нем смысл без документов?

История древнегреческой живописи в дошедших до нас или воссозданных современными исследователями изложениях при ближайшем рассмотрении сводится к перечню имен художников (Аполлодор, Полигнот, Зевксид, Апеллес и др.), приправленному биографическими анекдотами, к описанию сюжетов их полотен (пожар в Трое, сражение амазонок, битва при Марафоне, Елена, Ахилл, Клевета и т. д.), иногда довольно подробно, или к ряду положительных или отрицательных

оценок. Имена, анекдоты, сюжеты, оценки, выстроенные в хронологическом порядке. Однако имена творцов без опоры на их творения, с коими ты непосредственно не знаком, суть пустой звук, равно как и анекдоты, и описания сюжетов, и оценки — неважно, положительные или отрицательные. Хронология — тоже пустой звук, ибо чистая арифметика не отражает подлинного развития, не порождает мысли ввиду отсутствия основных ее элементов. Если эти словесные формулы что-то и говорят нам, то лишь благодаря ничтожным фрагментам, сохранившимся от античной живописи, благодаря второстепенным творениям, копиям, аналогиям с другими искусствами и поэзией. За этим исключением вся история древнегреческой живописи являет собой пустую словесную оболочку.

Или — если угодно — предстает «лишенной конкретного содержания». Поскольку нельзя отрицать, что имя художника ассоциируется в нашем сознании с кем-то и этот кто-то может быть живописцем, жившим в Афинах. Произнося слово «битва», мы думаем о неведомой битве гоплитов, а имя Елена вызывает у нас в памяти образ прекрасной женщины, напоминающей древнегреческую статую. Но к великому множеству событий, связанных с этими именами, мы относимся индифферентно, поэтому содержание их для нас неопределенно, а в неопределенности и заключена пустота.

Подобно этому всякая история в отрыве от живых документов есть лишь пустое изложение, лишенное достоверности именно в силу своей пустоты. Правда ли, что жил на свете живописец по имени Полигнот и что он изобразил Мильтиада в Стое? Вроде бы правда, поскольку множество очевидцев подтверждают существование сего шедевра. Однако же оно истинно лишь для тех очевидцев, а мы не можем с уверенностью засвидетельствовать истинность данного факта, ибо полагаемся на чужие свидетельства, являющиеся для нас чисто внешним основанием, тогда как истина требует основания внутреннего. И коль скоро это утверждение не является ни истинным, ни ложным, то нечего и говорить о его пользе, ибо голый король лишен своих прав. Если нет проблемы, то нет ни возможности, ни необходимости (не говоря уже о желании) ее решать. А пересказывать пустые толкования для нашей действительности более чем бесполезно. Жизнь — это настоящее, а выхолощенная, сведенная к пустым толкованиям история — прошлое, прошлое невозвратимое, если не в абсолютном смысле, то по крайней мере καθ'αὐτό, в настоящий момент.

Остаются пустые слова, а пустые слова есть звуки или соответствующие им графические знаки. Их соединяет и удерживает вместе не мыслительный (в противном случае им бы недолго оставаться пустыми), но волевой акт: некто счел нужным из каких-то своих соображений сохранить их, как бы пусты они ни были. Иначе говоря, толко-

вание есть не что иное, как скопище пустых слов или формул, скрепленных актом воли.

Вот вам наконец и определение, никем до сих пор не найденное, истинного отличия **истории** от **хроники**. Не найденное потому, что его до сих пор пытались вывести из **качества** фактов, избираемых как предмет истории или хроники. Скажем, хронике приписывали регистрацию **частных**, а истории — **общих** фактов, область первой — **личные**, второй — **общественные** факты. Как будто общее не является одновременно частным и наоборот, а общественное не может восприниматься как личное. Или же истории вменялось в обязанность вести летопись **важных** (достопамятных) событий, а хронике — **неважных**, словно бы важность того или иного события не относительна, не зависит от ситуации и для человека, над ухом которого вьется комар, жужжанье этого ничтожного насекомого не важнее похода Ксеркса! Разумеется, и в этих небезупречных определениях есть рациональное зерно, поскольку они пытаются вывести различие между историей и хроникой из различия **интересующего** и **не интересующего** нас (интересует всегда общее, а не частное, большое, а не малое и т. д.). Надо отдать должное и другим расхожим характеристикам, к примеру, той, что отмечает прочные **связи**, присущие истории, и **бессвязность**, свойственную хронике, **логическую** организацию первой и чисто **хронологическую** — второй, проникновение истории **вглубь** фактов и скольжение хроники по **поверхности**, либо взгляд на них **со стороны**, и тому подобное. Но дифференциация носит здесь скорее метафорический, нежели осмысленный характер, а в метафорах (если к ним прибегаешь не просто как к выразительному оформлению мысли) легко утратить то, что приобрел минутой ранее. Все дело в том, что историю и хронику нельзя считать двумя формами истории, которые либо независимы друг от друга, либо одна подчинена другой. Это два различных духовных **подхода**. История жива, хроника мертва, история всегда современна, хроника уходит в прошлое, история — преимущественно мыслительный, хроника — волевой акт. Всякая история превращается в хронику, если не подлежит осмыслению, а лишь регистрируется с помощью абстрактных слов, некогда служивших конкретным средством ее выражения. Хронику можно даже считать историей философии, написанной или прочитанной людьми, ничего в философии не понимающими, а историю мы зачастую читаем как хронику некоего монаха из Монтекассино, который, например, отмечает: «1001. *Beatus Dominicus migravit ad Christum*. 1002. *Hoc anno venerunt Saraceni super Capuam*. 1004. *Terremotus ingens hunc montem exagitavit*»¹ и так далее. Переживая эти события, он скорбел об уходе блаженного Доминика, ужасался стихийным и человеческим бедствиям, что обрушились на его страну, и видел

¹ 1001. Блаженный Доминик переселился к Христу. 1002. В сей год напали сарадины на Капую. 1004. Огромное землетрясение потрясло сию гору (лат.).

над этой чередой событий простертую длань Господа. Это, однако, не означает, что история не могла стать для того же монаха хроникой, когда он переставал думать о содержании событий и представлять себя среди них, а просто записывал холодные формулы с одной-единственной целью — не растерять воспоминания, передать их тем, кто будет жить в Монтекассино после него.

Установление же подлинной, формальной (то есть действительной) грани между историей и хроникой не только освобождает нас от утомительной и бесплодной погони за материальными (читай: вымышленными) определениями, но и дает возможность пересмотреть банальнейший тезис о **первичности** хроники по отношению к истории. «*Primo annales (хроника) fuere, post Historiae factae sunt*»², согласно затверженному, как прописи, высказыванию древнего ученого (грамматика Мария Викторина). Но из исследования природы, а также генезиса двух различных подходов следует прямо противоположное: **сначала История, потом Хроника**. Сначала живое, потом мертвое. А утверждать, будто хроника породила историю, все равно что вести происхождение живого человека от трупа, который в той же мере является останками жизни, в какой хроника является останками истории.

III

История, оторванная от живого документа и сведенная к хронике, уже не духовный акт, а просто вещь, скопление звуков или иных знаков. Но и документ, оторванный от жизни, не что иное, как вещь, подобная всем прочим, скопление звуков или иных знаков; к примеру, звуки и буквы, через которые выражал себя закон, или высеченная в мраморе фигура божества, внушавшая некогда религиозный трепет, или груда костей, в которую с течением времени превратились человек и животное.

Спрашивается, существуют ли в действительности пустые изложения и мертвые документы? В известном смысле нет, ибо ничто внешнее, постороннее духу, не обладает существованием. Мы знаем, что хроника, являющая собой пустое изложение, существует постольку, поскольку ее порождает дух и удерживает актом воли (должно быть, здесь уместно еще раз напомнить о том, что последний влечет за собой новый акт сознания и мысли), актом, отделяющим звук от мысли, в которой он был чем-то конкретным и определенным. И точно так же мертвые документы существуют постольку, поскольку являются знаками новой жизни: ведь и труп участвует в жизненном процессе, хотя и кажется разлагающимся, неодушевленным по отношению к определенной фор-

² Сперва появились анналы, затем были созданы истории (лат.).

ме жизни. Подобно тому, как пустые звуки, некогда заключавшие в себе историческую мысль, в память об этой мысли все еще называют ее изложением, так и новые жизненные проявления продолжают считать останками предшествующей, но фактически уже угасшей жизни.

Теперь мы в состоянии оценить встречающееся во многих современных методологиях разграничение **исторических источников** на дошедшие до нас в **изложениях** и **документах**, или, как иногда формулируют, в **традициях** и **останках** (*Überbleibsel, Überreste*). В эмпирическом аспекте данное разграничение выглядит иррациональным и может служить типичным примером неуместного введения в эмпирику умозрительной мысли. Ты тут же сталкиваешься с невозможностью проводить на основании этого принципа какие бы то ни было разграничения. Пустое «изложение» рассматривается как вещь и тем самым приравнивается к любой другой вещи, именуемой «документом». Есть еще одна трудность, связанная с этим разграничением: историю приходится строить на двух разных фундаментах (одна нога на берегу, другая в воде), имея в виду, так сказать, две параллельные линии и постоянно переходя с одной на другую. А когда в попытке избавиться от неудобного параллелизма ты хочешь определить соотношение двух источников, то один ставится выше другого, и тем самым разграничение стирается, ибо высшая форма разрешается в самой себе и уничтожает низшую. Или же приходится постулировать третий термин, в котором оба первых сосуществуют в своем различии, — вот вам еще один способ объявить их чистой абстракцией. Поэтому мне вовсе не кажется странным тот факт, что разграничение изложения и документа не отражено в наиболее эмпирических методологиях, авторы которых отнюдь не смущаются подобными тонкостями и довольствуются тем, что подразделяют исторические источники на **письменные** и **изобразительные**, либо как-то иначе, но в том же ключе. В Германии подобное разграничение можно найти у Дройзена в его замечательных «Элементах истории» (Дройзен, следует заметить, обладал умом весьма философического склада), а вслед за ним у других немецких ученых, которые в силу богатейших философских традиций своей страны были «смешанными» эмпириками, «систематиками» или «педантами», как величают их в наших латинских странах. Да, в этой неуместной философии педантизм присутствует в немалых дозах, но как живительна упомянутая неуместность со всеми свойственными ей противоречиями, как умеет она пробудить умы от эмпирической спячки, как остро дает почувствовать, что вещи не суть вещи, но духовные акты, а там, где, казалось бы, должен царить непримиримый дуализм, на деле властвуют связь и единство! Деление источников на изложения и документы, превосходство, приписываемое вторым над первыми, признание изложения пусть подчиненным, но неотъемлемым элементом истории суть аллегория или миф, в образной

форме представляющие связь в исторической мысли жизни с мыслью, документа с критикой.

Документ и критика, жизнь и мысль — вот истинные **источники** истории, иными словами, элементы исторического синтеза, и, в качестве таковых, они не предшествуют истории или синтезу как резервуар, к которому историк спешит со своим ведром, а заложены внутри истории, внутри синтеза, как ими созданные и их созидающие. История, чьи источники находятся вне ее, — чистейшая химера, и ее надобно отбросить наряду с химерой истории, которой предшествует хроника. Собственно, это одна и та же химера. Для чисто внешнего эмпирического взгляда источник как вещь выступает в одном ряду с хроникой, являющейся классом этих вещей и подобной им, и не предшествует истории, а следует за ней. Что стало бы с историей, если б она дождалась своего рождения от того, что следует за нею, от того, что находится вне ее? От вещи рождается вещь, а не мысль. История, порожденная вещами, сама была бы вещью, и к тому же несуществующей, о чем уже шла речь выше.

Коль скоро в отношении хроники, как и в отношении документов, создается видимость их предшествования истории, видимость ее внешних источников, тому должна быть причина. Дух человеческий хранит бранные останки истории, пустые толкования, хронику. И тот же самый дух собирает следы прошлой жизни, памятники, документы, причем стремится сохранять их по возможности в неизменном виде, либо восстанавливать по мере их изменения. Чем объяснить подобное упорство в сохранении мертвого, отжившего? Быть может, иллюзорной надеждой удержать бранный и преходящий на пороге смерти возведением гробниц, обители для усопших? Но ведь гробницы — не глупость, не иллюзия, а нравственное деяние, с помощью которого обеспечивается символическое бессмертие трудов человеческих, что и после смерти живут в наших воспоминаниях и будут жить в грядущем. И переписывание пустой истории, пересказывание мертвых документов — тоже акт жизни, направленный на служение жизни. В один прекрасный день они воскреснут в нашей душе и, обогатив минувшую историю, сделают ее нынешней.

Да, мертвая история возрождается, минувшее становится нынешним, если того требует сама жизнь. Древние римляне и греки покоились в своих гробницах до тех пор, пока новая зрелость европейского сознания в эпоху Возрождения не пробудила их к жизни. Покоились забытыми, ненужными, непонятыми примитивные, грубые, варварские формы культуры, пока новый этап развития европейского духа, названный романтизмом или Реставрацией, не «проникся симпатией» к ним, не признал их, руководствуясь своим насущным интересом. И сколько еще областей истории, которые пока являются для нас хроникой, сколь-

ко донные безмолвствующих документов со временем сбросят с себя оцепенение смерти и заговорят вновь!

Процесс воскрешения объясняется исключительно внутренними причинами, никакое изобилие источников не могло бы его подтолкнуть, ибо он сам притягивает друг к другу источники, которые иначе оставались бы рассеянными, безмолвными, и умножает их число. Истинный смысл исторического познания нельзя постичь, если не отталкиваться от того принципа, что сам дух и есть история, что в каждый отдельно взятый момент он и творит историю, и сотворяется ею. То есть несет в себе всю историю и совпадает в ней с самим собой. Смена забвения в истории воскрешением не что иное, как жизненный ритм духа. Дух самоопределяется и индивидуализируется, одновременно снимая прежнюю определенность и индивидуальность, дабы создать новую, еще богаче, еще насыщеннее. Он, если можно так выразиться, пережил бы собственную историю даже без внешних атрибутов, именуемых изложениями и документами. Однако эти внешние атрибуты служат ему орудиями, это подготовительная стадия в процессе совершения внутреннего жизненного акта, в котором они находят свое разрешение. Вот почему дух присваивает себе и ревниво оберегает «память прошлого».

То, что мы делаем на протяжении всей жизни, заноса в блокнот даты и события, относящиеся к нашим делам (хроника), или храня в ящичке стола засохшие цветы и ленты (да будет мне позволено прибегнуть к столь сентиментальному примеру для иллюстрации процесса собирания документов), осуществляет в более масштабном объеме, располагая своего рода социальным мандатом, класс трудящихся, именуемых **филологами**, а точнее **эрудитами**, когда они собирают свидетельства и изложения, или же **архивистами** и **археологами**, когда те разыскивают документы и памятники. А места, где эти предметы хранятся («безмолвная белая смерти обитель»), величают библиотеками, архивами, музеями. Можно ли плохо относиться к эрудитам, архивистам и археологам, исполняющим необходимое, важное и полезное дело? Однако над ними, как правило, посмеиваются или в лучшем случае смотрят на них снисходительно. Правда, они сами часто дают повод для насмешек своей наивной верой в то, что держат в руках ключ к истории и, если захотят, откроют «источники», из которых будет черпать все жаждущее человечество, — тогда как истинная история принадлежит всем и ее источники содержатся в душе каждого из нас. Наша душа и есть то горнило, в котором **достоверное** переплавляется в **истинное**, а **филология**, сливаясь с **философией**, порождает **историю**.

II. ПСЕВДОИСТОРИИ

I

История, хроника, филология, чей генезис мы видели, являются формами мышления, которые, несмотря на различия, следует считать формами физиологическими, иначе говоря — достоверными и рациональными. Но логические размышления теперь уводят меня от физиологии к патологии, к формам, являющимся, по сути, деформированными, недостоверными, иррациональными.

Наивная вера филологов в то, что им удастся удержать историю в библиотеках, музеях и архивах (подобно тому джинну из «Тысячи и одной ночи», что как сжатый дым хранился в закупоренном сосуде), не остается пассивной, а напротив, порождает образ истории, созданной из предметов, традиций и документов (пустых традиций и мертвых документов): такую историю следовало бы называть **филологической**. Я не случайно говорю об «образе», а не об образце, ибо выстроить историю из внешних предметов попросту невозможно, какие бы усилия и искусство к этому ни прилагались. Подправленные, подчищенные, перекроенные, упорядоченные хроники все равно остаются хрониками, пустыми изложениями; восстановленные, переосмысленные, истолкованные и сгруппированные документы так и останутся документами, то есть безгласными предметами. Филологическая история сводится к слиянию многих книг или их частей в новую книгу, то есть к процессу, который в нашем языке определяется термином «компиляция». Причем компиляции нередко приносят пользу — избавляют от труда перерывать горы книг, — однако никакой исторической мысли не содержат. Современные историки-филологи взирают свысока на средневековых хронистов и на итальянских историков прошлого (от Макьявелли и Гвиччардини до Джанноне), которые, по их словам, в повествовательных, или летописных частях своих трудов попросту переписывали «источники». Но и сами они недалеко от этого ушли, да и куда им деваться, ведь история, построенная на обращении с источниками как с вещью, и есть не что иное, как переписывание источников с дополнениями, сокращениями или изменениями отдельных слов (что порой есть вопрос вкуса, а порой просто литературное мошенничество), с упорядочением цитат, что иной раз выражает стремление к точности и чувство ответственности, а чаще — желание убедить себя и других в том, что изложение или процитированный документ и есть твердая почва истины. Сколько таких филологических историй появилось в наши дни, особенно с тех пор, как восторжествовал так называемый «филологический метод»! Их исполненный научного достоинства вид — только видимость, в них *fehlt, leider! das geistige Band*, отсутствует духовная связь, это не более